

Александр ЕРЕМЕНКО

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРАНА

ПУШКИНСКИЙ ФОНД

Санкт-Петербург • МСМХСІХ



Александр ЕРЕМЕНКО

**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
СТРАНА**

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

ПУШКИНСКИЙ ФОНД

Санкт-Петербург • МСМХСІХ

Е 70
ББК 84. Р7

Марка издательства работы
Сергея Семенова



Горизонтальная страна.
Определительные мимо.
Здесь вечно несоизмеримы
диагональ
и сторона.

У дома сад.
Квадрат окна.
Снег валит по диагоналям.
А завтра будет в кучу свален
там, где другая сторона.

Ведь существует сатана
из углублений готовален.
Сегодня гений — гениален.
Но он не помнит ни хрена.

Все верно, друг мой.
Пей — до дна.
У дома сад. Шумит — как хочет.

И кто поймет, чего со сна
он там бормочет...



Когда наугад расщепляется код,
как, сдвоившись над моментальным проходом,
мучительно гений плывет над народом
к табличке с мигающей надписью «вход»!

Любые системы вмещаются в код.
Большие участки кодируют с ходу.
Ночной механизмик свистит за комодом,
и в белой душе расцветает диод.

Вот маленький сад. А за ним — огород.
Как сильно с периодом около года
взлетала черемуха за огородом,
большая и белая, как водород!

К ВОПРОСУ О ДЛИНЕ ВЗГЛЯДА

Как измеряют рост идущим на войну,
как ходит взад-вперед рейсшина параллельно,
так этот длинный взгляд, приделанный к окну,
поддерживает мир по принципу кронштейна.

Погусторонний взгляд. Им обладал Эйнштейн.
Хотя, конечно, в чем достоинство Эйнштейна?
Он, как пустой стакан, перевернул кронштейн,
ничуть не изменив конструкции кронштейна.

Мир продолжал стоять. Как прежде — на китах.
Но нам важнее сам факт существования взгляда.
А уж потом все то, что видит он впотьмах.
Важна его длина. Длина пустого взгляда.

С ним можно подбегать к колодцам за водой.
Но с ним нельзя идти сдавать макулатуру.
И если погрузить весь торс в мускулатуру,
то этот длинный взгляд исчезнет сам собой.

Отсюда сам собой рождается наш взгляд
на поднятый вопрос длины пустого взгляда,
что сумма белых длин, где каждая есть взгляд,
равна одной длине, длине пустого взгляда.

...Поддерживает мир. Чтоб плоскость городов
держалась на весу как жесткая система.
Пустой кинотеатр. И днище гастронома.
И веток метроном, забытый между стен.



Уже его рука по локоть в теореме
и тонет до плеча, но страха нет, пока
достаточно в часах античного песка,
равно как и рабов в классической галере.

Еще полным-полно в запасниках вина.
Полным-полно богов в прогретой атмосфере,
и смысл той прямой, где каждому — по вере,
воспринимается как кривизна...



Устав висеть на турнике,
ушла, а руки — позабыла.
И там, где кончились перила,
остановилась в тупике.

Уже по грудь в тугом песке,
империя вокруг басыла,
смеркался день, живот знобило,
и глаз, как чудный лепесток,
дождем и снегом заносило...

И наклоняясь, как попить,
и принужденно улыбаясь,
бризантная и золотая,
кого здесь, Господи,
любить?..



Когда, совпав с отверстиями гроз,
заклинят междометия воды,
и белые тяжелые сады
вращаются, как жидкий паровоз,
замкните схему пачкой папирос,
где «Беломор» похож на амперметр...
О, как равновелик и перламутров
на небесах начавшийся митоз!
Я говорю, что я затем и рос
и нажимал на смутные педали,
чтоб, наконец, свинтил свои детали
сей влажный сад
в одну из нужных поз.

СОПРЯЖЕНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ

Входим в соприкосновенье,
две системы сопрягая,
наши правила спряженья
до предела напрягая.
Есть же правила сближенья.
Как-то все должно случиться,
по каким-нибудь таблицам,
как таблицам умноженья,
где известно нахождение
неизвестных на орбите.
Есть какие-то границы
меж парами и туманом.
Или мы — микрочастицы,
чьи параметры туманны?
В этой точке сон не длится:
слишком скорость музыкальна.
Мы не можем раздвоиться,
цель на метод замыкая.
И вопрос стоит резонно
в фиолетовых ночах:
вы поэты иль пижоны
в вельветовых штанах?

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема.
Шелестит по краям и приходит в негодность листва.
Вдоль дороги пустой провисает неслышная лемма
телеграфных прямых, от которых болит голова.

Разрушается воздух. Нарушаются длинные связи
между контуром и неудавшимся смыслом цветка.
И сама под себя наугад заползает река
и потом шелестит, и они совпадают по фазе.

Электрический ветер завязан пустыми узлами,
и на красной земле, если срезать поверхностный слой,
корабельные сосны привинчены снизу болтами
с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.

И как только в окне два ряда отштампованных елок
пролетят, я увижу: у речки на правом боку
в непролазной грязи шевелится рабочий поселок
и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку.

Что с того, что я не был там только одиннадцать лет?
За дорогой осенний лесок так же чист и подробен.
В нем осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин
у ночного костра мне отлил из свинца пистолет.

Там жена моя вяжет на длинном и скучном диване.
Там невеста моя на пустом табурете сидит.
Там бредет моя мать то по грудь, то по пояс в тумане,
и в окошко мой внук сквозь разрушенный воздух глядит.

Я там умер вчера. И до ужаса слышно мне было,
как по твердой дороге рабочая лошадь прошла,
и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила,
лошадиная сила вращалась, как бензопила.

ФРАГМЕНТ

Когда директор спать ушел
и заморозились плафоны,
взбесившись, со стола на стол
перелетают телефоны.

А за окошком, где торчат
деревьев черных камертоны,
и лопаются электроны,
и ветки тонкие горчат,
сухие черные вороны
кричат,

качаются,

кричат...



Неопознанный летающий объект,
ты зачем летаешь, неопознан,
над народом, без того нервным
по причине скверных сигарет?

Уважай строительный объект.
Не виси над нашим огородом.
Или хочешь к бомбам водородным
прицениться? Так у нас их нет...

Может, проникаешь в интеллект?
Только не проникни в нашу тайну.

Вот жена моя заходит в спальню —
Неопознанный
Летающий
Объект.

ПЕСЕНКА АЛЬПИНИСТА

Карабкайся и пой.
Барахтайся и веруй.
И прижимай рукой
разрезанную вену.
Карабкайся и пой.
Барахтайся и веруй,
что сам ты не такой,
как все на карусели.

Барахтайся, ломай,
карабкайся — и — вену.
И пальцем прижимай
разрезанную веру.
Разрезанную пой.
Удачно раскромсали,
затем, чтоб не такой,
как все на карусели.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ДРУГУ

Нас разыграют, как по нотам.
Одних — по тем, других — по этим,
ты станешь ярим патриотом,
я — замечательным поэтом.

И зашагаем по пустотам,
как по начищенным паркетам,
и кто-то спросит нас: а кто там
всегда скрывается за этим?

Но мы как будто не заметим
и, наклоняясь по субботам
уже над высохшим заветом,
не будем сдерживать зевоты.

И нам не выбиться из круга,
где мы с газетных разворотов
будем подмигивать друг другу,
уже совсем как идиоты.



Человек похож на термопару:
если слева чуточку нагреть,
развернется справа для удара...
Дальше не положено смотреть.
Даже если все переиначить —
то нагнется к твоему плечу
в позе, приспособленной для плача...
Дальше тоже видеть не хочу.



Природа антисоциальна.
В природе все наоборот.
Она пуста и идеальна,
и застывает идиот

у разведенного моста,
когда он крикнет разведенно,
и звук летит до горизонта
и сохраняет форму рта.



Процесс сокращения дробей

$$\frac{16}{8} \frac{8}{4} \frac{4}{2}$$

сегодня настолько подробен,
что лес (он под корень подрублен)
кричит вдоль дороги: — Добей!

Опять же проблема корней.
И сумрачный куб корневища.
И косо стучат топорщица,
и с каждым ударом слабей.

И не достигают корней.
И тут еще просятся брови...
Но все-таки в самой основе —
Бог знает каких степеней.

А мы? Пробиваясь сквозь тьму
и чувствуя что-то под нами,
срастаемся где-то корнями —
нож — в ножны,
«один к одному».

$$\frac{1}{1}$$



Колю дрова
напротив бензоколонки.
Меня смущает столь откровенное сопоставление
полена, поставленного на попа,
и «кола» в «колонке».
Я пытаюсь вогнать между ними клин,
я весь горю,
размахиваюсь,
химичу:
— Дровоколонка! —
Но с каждым ударом меня сносит влево,
и я становлюсь все дровее и дровее.



Мне нравятся два слова:
«панорама» и «гальванопластика».
Ты остришь по этому поводу
и, листая телепрограмму,
попадаешь в расставленную мною ловушку.
И пачка «Беломора»,
поставленная на попу,
снова напоминает гальванометр,
и ты остришь без всякого повода,
что можно плыть и без помощи расчески
из коммунальной ванной
до созвездия Волосы Вероники.

ЯРМАРКА

Взлетает косолапый самолетик
и вертится в спортивных небесах.
То замолчит, как стрелка на весах,
то запоет, как пуля на излете.

Пропеллер — маг и косточка в компоте,
и крепдешин, разорванный в ушах.
Ушли на дно. Туда, где вечный шах;
в себя, как вечный двигатель в работе.

Упали друг на друга. Без рубах.
В пространстве между костью и собакой
вселенная — не больше бензобака
и теплая, как море или пах.



Благословенно воскресение,
когда за сдвоенными рамами
начнется медленное трение
над подсыхающими ранами.
Разноименные поверхности.
Как два вихляющихся поезда.
На вираже для достоверности
как бы согнувшиеся в поясе.
И ветки движутся серьезные,
как будто в кровь артериальную
преображается венозная,
пройдя сосуды вертикальные,
и междометия прилежные,
как будто профили медальные,
и окончания падежные,
вдохнув пространства минимальные.
Как по касательным сомнительным,
как по сомнительным касательным,
внезапно вздрогнут в именительном,
уже притянутые дательным...
Ах, металлическим числительным
по направляющим старательным,
что время снова станет длительным
и обязательным...



Урок естествознания лежал,
подробно уничтоженный на карте,
а для других отверстий в коридоре
большие окончания несли.

Был весь процесс продуман до конца,
и мы сидели, умные, как греки,
за рисованьем шло чистописанье,
а на труду лепили огурцы...

А вечером уборщицы в тиши
переставляли рамки междометий,
и старческие ахи или вздохи
слышны были
на разных полюсах...



Был педагог медлительный и старый.
А по утрам старательный и хмурый.
Принес два новых перпендикуляра,
и это называлось физкультурой.

Физической культурой.

Теплый день

был назван «всесоюзною линейкой».

За рисованьем шло чистописанье,

а на труду — лепили огурцы.



В простой оберточной бумаге,
обыкновенной бандеролью,
где за ночь вымокшие флаги
висят отвесно и небольно.
И звуки, мыслящие в шаге,
придают в тягостном веселье
шероховатости бумаги
невозмутимой нонпарелью.
Мы этот голос не сломали.
И по-другому не умели.

.
.



Косыми щитами дождей
заставлены лица людей,
больница и зданье райкома,
где снизу деревьев оскома,
а сверху — портреты вождей

заставлены плотным щитом
как винный отдел гастронома
и как предисловие к тому
«Всемирной истории» том

заставлен, заброшен, забыт,
и воет, как сброшенный с крыши
вчерашний, зажавшийся, пышный
и бешеный палеолит.

Уставишься в теодолит
урвав среди ноцикусочек —
он дышит бушует клокочет
клокочетбу шуеткипит

...мы ждем на седьмых скоростях...
...в баранку вцепившись ногтями...
...и вдруг отключается память...
...на чьих-то тяжелых костях...

Я вздрогну и спрыгну с коня,
и гляну на правую руку,
когда, улыбаясь, как сука,
ОПРИЧНИК ПОЙДЕТ НА МЕНЯ.



В. Д.

На Бога, погруженного в материю,
действует выталкивающая сила,
равная крику зарезанных младенцев.

ХОККУ

**Я окна открыл.
Пусть ветер гуляет по комнатам,
как центробежный насос.**

ХОККУ

**Жаркий полдень.
Бутылку вина
ворую в универсаме.**



Зачем ты рискуешь магазином и душистой папироской,
искришь на солнце, как голубая вожжа,
остришь, как на точильном круге стальная полоска,
приближающаяся по форме к форме стального ножа?
Зачем ты заигрываешь с большевиками?

Как собака обнюхивает забор, обнюхиваешь тибетский
гороскоп.

Руки свои, вцепившиеся в ворот рубашки,
отрываешь другими своими руками,
заглядываешь в револьверное дуло,
как в калейдоскоп.

Уже доказана теорема Эйлера.

Поверхностное натяжение стягивает пространство
в холерные бунты,

складывается складками на мундире ефрейтора.

Втыкаются в кладбище пикирующие кресты.

И тебе не спится в астральных твоих сферах,
потому что совесть — это не вектор, а перпендикуляр,
восставленный к вектору...

И тебя притягивает «Елисейский»,
гостиница «Советская» — бывший ресторан «Яр».



И рация во сне, и греки в Фермопилах,
подробный пересказ, помноженный кнутом,
в винительных кустах,
в сомнительных стропилах,
в снежинке за окном.

Так трескается лед, смерзаются и длятся
охапки хвороста и вертикальные углы —
в компáсе не живут, и у Декарта злятся,
летят из-под пилы...

ДУМА
(неидерландские пословицы)

Лимон — сейсмограф солнечной системы.
Поля в припадке бешеной клубники.
Дрожит пчела, пробитая навылет,
и яблоко осеннее кислит.

Свет отдыхает в глубине дилеммы,
через скакалку прыгает на стыке
валентных связей, сбитых на коленках,
и со стыда, как бабочка, горит.

И по сварному шву инвариантов
пчела бредет в гремящей стратосфере,
завязывает бантиком пространство,
на вход и выход ставит часовых.

Она на вкус разводит дуэлянтов,
косит в арифметическом примере
и взадпятки не сходится с ответом,
копя остаток в кольцах поршневых.

Она нектаром смазана и маслом.
Ее ни дождь не сносит и ни ветер.
Она в бутылку лезет без бутылки
и раскрывает ножик без ножа.

И с головой в критическую массу
она уходит, складывая веер,
она берет копилку из копилки,
с ежом петлю готовит на ужа.

И на боку в Декартовой модели
лежит на полосатеньком матрасе,
она не ставит крестик или нолик,
но крест и ноль рисует на траве.

Она семь тел выстраивает в теле,
ее каркас подвешен на каркасе,
и роль ее — ни шарик и ни ролик,
ей можно кол тесать на голове.

Она не может сесть в чужие санки,
хватается за бабу и за деду,
она хоть зубы покладет на полку,
но любит всех до глубины души.

Как говорил какой-то Встанька Ваньке,
сегодня хрен намного слаще редьки,
в колеса палкам можно ставить елки,
а ушки на макушке хороши.

Вселенная, разъятая на части,
не оставляет места для вопроса.
Две девственницы схожи, как две капли,
а жизнь и смерть — как масло и вода.

В метро пустом, как выпитая чаша,
уже наган прирос к бедру матроса,
и, собирая речь свою по капле,
я повторяю, словно провода:

какой бы раб ни вышел на галеру,
какую бы с нас шкуру ни спускали,
какое бы здесь время ни взбесилось,
какой бы мне портвейн ни поднесли,

какую бы ни выдумали веру,
какие бы посуды ни летали
и сколько бы их там ни уместилось
на кончике останкинской иглы,

в пространстве между пробкой и бутылкой,
в пространстве между костью и собакой,
еще вполне достаточно пространства
в пространстве между ниткой и иглой,

в зазоре между пулей и затылком,
в просторе между телом и рубахой,
где человек идет по косогору,
укушенный змеей, пчелой...



Процесс приближенья к столу
сродни ожиданию пытки.
Сродни продеванию нитки
в задержавшуюся иглу.

По рельсу, лучу, по ковру,
ко рву по ковровой дорожке.
— Но только не рвись, пока врешься.
— О Господи, я и не вру.

А мальчик, продолжив игру,
кричит из-за стула: — Сдаешься!
Но только не вришь, пока рвешься.
— О Господи, я и не рву.



Т. А.

Висят на лоджии, как ей
взбрело повесить в понедельник:
футболка, джинсы, легкий тельник,
трусы, похожие на клей.

И все болтается не в лад,
как этот полдень бестолковый,
от водолазки до носков и
обратно мучается взгляд...



*Иерониму Босху,
изобретателю прожектора*

1

Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил,
что мой взгляд, прежде чем до тебя добежать, удвоится.
Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию в лицах.
Тебя не было вовсе, и, значит, я тоже не был.
Мы не существовали в неслышной возне хромосом,
в этом солнце большом или в белой большой протоплазме.
Нас еще до сих пор обвиняют в подобном маразме,
в первобытном бульоне карауля с поднятым веслом.
Мы сейчас, как всегда, попытаемся снова свести
траектории тел. Вот условие первого хода:
если высветишь ты близлежащий участок пути,
я тебя назову существительным женского рода.
Я, конечно, найду в этом хламе, летящем в глаза,
надлежащий конфликт, отвечающий заданной схеме.
Так, всплывая со дна, треугольник к своей теореме
прилипает навечно. Тебя надо еще доказать.
Тебя надо увешать каким-то набором морфем
(в ослепительной форме осы заблудившийся морфий),
чтоб узнали тебя, каждый раз в соответственной дозе,
обладатели тел. Взгляд вернулся к начальной строфе...
Я смотрю на тебя из настолько глубоких...

Игра

продолжается. Ход из меня прорастет, как бойница.
Уберите конвой. Мы играем комедию в лицах.
Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.

2

Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.
У меня под ногой (когда плюну — на них попаду)

шли толпой бегуны в непролазном и синем аду,
и, как тонкие вши, шевелились на них номера.
У меня за спиной шелестел нарисованный рай,
и по краю его, то трубя, то звеня за версту,
это ангел проплыл или новенький чистый трамвай,
словно мальчик косой с металлической трубкой во рту.
И пустая рука повернет, как антенну, алтарь,
и внутри побредет сам с собой совместившийся сын,
заблудившийся в мокром и дряблом строенье осин,
как развернутый ветром бумажный хоккейный вратарь.
Кто сейчас расчленил этот сложный язык и простой,
этот сложенный вдвое и втрое, на винт теоремы
намотавшийся смысл, всей длиной, шириной, высотой
этот встроенный в ум и утроенный ужас системы.
Вот божественный знак: прогрессирует ад.
Концентрический холод к тебе подступает кругами.
Я смотрю на тебя — загибается взгляд
и кусает свой собственный хвост. И в затылок
стучит сапогами.
И в орущем табло застревают последние дни.
И бегущий олень зафиксирован в мерзлом полене.
Выплывая со дна, подо льдом годовое кольцо растолкни —
он сойдется опять. И поставит тебя на колени,
где трехмерный колодец не стоит плевка,
Пифагор по колени в грязи и секущая плоскость татар.
В этом мире косом существует прямой пистолетный удар,
но, однако, и он не прямей, чем прямая кишка.
И в пустых небесах небоскреб только небо скребет,
так же как волкодав никогда не задавит пустынного
волка,
и когда в это мясо и рубку (я слово забыл)
попадет твой хребёт —
пропоеет твоя глотка.

3

В кустах раздвинут соловей.
Над ними вертится звезда.

В болоте стиснута вода,
как трансформатор силовой.

Летит луна над головой,
на пустыре горит прожектор
и ограничивает сектор,
откуда подан угловой.

1

Между солнцем горящим и спичкой здесь нет
разногласий.

Если путь до звезды, из которой ты только возник,
подчиняется просто количеству стертых балясин,
мы споткнулись уже, слава Богу, на первой из них.

Я бы кальцием стал, я бы магнием в веточке высох,
сократился на нет, по колени ушел в домино,
заострился в иголке, в золе, в концентрических осах,
я бы крысу убил, поглупел, я бы снялся в кино...

В вертикальных углах, в героической их канители
этот взгляд мимо цели и миниатюрный разгром...
Сон встает на ребро, обнажаются мели:
полупьяный даос, парадокс близнецов, ход конем.

2

Дорога выходит из леса,
и снова во весь разворот:
еврейский погром разновесов,
разнузданный теннисный корт.

И снова двоичная смута
у входа встает на ребро.
Бетоном и астмой раздуто
зловещее горло метро.

Бессмысленней жаберной щели,
страшней, чем в иконе оклад,
они безобразней гантели
и гуще шеренги солдат.

Налево пойдешь — как нагайка
огреет сквозняк новостей.

Направо — опять контргайка
срезает резьбу до костей.

Я вычерпал душу до глины,
до темных астральных пружин,
чтоб вычислить две половины
и выйти один на один

с таким оголтелым китайцем,
что, сколько уже ни крути, —
не вычерпать, как ни пытайся,
блестящую стрелку в груди.

Не выправить пьяного жеста,
включенного, как метроном,
не сдвинуться с этого места.
Чтоб мне провалиться на нем.



Двоятся и пляшут и скачут со стен
зеленые цифры, пульсируют стены.
С размаху и сразу мутируют гены,
бессмысленно хлопая, как автоген.

И только потом раздвоится рефрен.
Большую колоду тасуют со сцены.
Крестовая дама выходит из пены,
и пена полощется возле колен.

Спи, хан половецкий, в своем ковыле.
Все пьяны и сыты, набиты карманы.
Зарубки на дереве светят в тумане,
как черточки на вертикальной шкале.



«Печатными буквами пишут доносы».
Закрою глаза и к утру успокоюсь,
что все-таки смог этот мальчик курносый
назад отразить гроыхающий конус.
Сгоревшие в танках вдыхают цветы.
Владелец тарана глядит с этикеток.
По паркам культуры стада статуэток
куда-то бредут, раздвигая кусты.
О, как я люблю этот гипсовый шок
и запрограммированное уродство,
где гладкого глаза пустой лепесток
гвоздем проковырян для пущего сходства.
Люблю этих мыслей железобетон
и эту глобальную архитектуру,
которую можно лишь спьяну иль сдуру
принять за ракету или за трон.
В ней только животный болезненный страх
гнездится в гранитной химере размаха,
где, словно титана распахнутый пах,
дымится ущелье отвесного мрака.

...Наверное, смог, если там, где делить
положено на два больничное слово,
я смог, отделяя одно от другого,
одно от другого совсем отделить.

Дай Бог нам здоровья до смерти дожить,
до старости длинной, до длинного слова,
легко ковыляя от слова до слова,
дай Бог нам здоровья до смерти дожить.



На перронах, продутых насквозь,
на вокзалах
мне мерещилась, воображалась
всепронизывающая ось.
Эта тема нелепа, как трость,
если где-то стучат костылями.
Это детский наив пластилина,
если рядом слоновая кость.
Эта тема в сумятице каст,
одинокое летя над кустами,
оседает, как снег, между нами
и становится твердой, как наст.
Это мой примелькавшийся гость
вперемижку с другими гостями
в коридоре мерцает костями
и не вешает шляпы на гвоздь.
И, слетая, как с дерева лист,
лист бумаги поет и отважен.
Стих написан, отточен и всажен,
словно гвоздь, пробивающий кисть.

И, распнутая в каждом стихе,
эта схема в другом воскресает,
и смеющийся мальчик шагает,
шляпку гвоздика сжав в кулаке.



Погружай нас в огонь или воду,
деформируя плоскость листа, —
мы своей не изменим природы
и такого строения рта.

Разбери и свинти наугад,
вынимая деталь из детали, —
мы останемся как и стояли,
отклонившись немного назад.

Даже если на десять кусков
это тело разрезать сумеют,
я уверен, что тоже сумею
длинно выплюнуть черную кровь

и срастись, как срастаются змеи,
изогнувшись в дугу.

И тогда
снова выгнуться телом холодным:
мы свободны,
свободны,
свободны.
И свободными будем всегда.

ИЗ КАМЧАТСКОЙ ТЕТРАДИ

На брюхе, как солнце, — участок оленя.
И спины пробиты таким же ядром.
А самый тяжелый, проткнутый ведром,
накормит собак — и уснет на ступенях.

Так, бросив под ноги пустой телескоп,
пируют коряки в снегу у конторы,
и, медленно плавая, узкие взоры,
как длинные рыбы, уходят в сугроб.

Черкни строганинки и свистни ножом...
Наш дом примагничен к железной дороге.
В одном направлении наши дороги,
а ваши читаются как палиндром.

СЮЖЕТНЫЕ СТИХИ

Проскользнув через створки манжет,
kozyрнув независимым жестом,
отзываясь условленным свистом,
по бумаге запрыгал сюжет.

Это провинциальный парад.
Это град барабанит по жести.
Все в порядке. Мы празднуем вместе
целых десять линейных подряд.

И, прощелкав газетный квадрат
по длине разворота «Известий»
и легко развернувшись на месте,
хороводик влетает назад.

Он вернется, ничемный сюжет,
теоремой, как шпага, отвесной,
телеграммой с одним неизвестным,
где уже вместо «игрека» — «зет».



Паром — большая этажерка.
И мысли — задом наперед,
когда последняя проверка
как гвозди в планку нас вобьет.

И как картавил молоток,
считая бритые затылки,
так и остались бескозырки
стоять чуть-чуть наискосок.

1

Когда мне будет восемьдесят лет,
 то есть когда я не смогу подняться
 без посторонней помощи с того
 сооруженья наподобье стула,
 а говоря иначе, туалет
 когда в моем сознание превратится
 в мучительное место для прогулок
 вдвоем с сиделкой, внуком или с тем,
 кто забредет случайно, спутав номер
 квартиры, ибо восемьдесят лет —
 приличный срок, чтоб медленно, как мухи,
 твои друзья бывлые передохли,
 тем более что смерть — не только факт
 простой биологической кончины,
 так вот, когда, угрюмый и больной,
 с отвисшей нижней губой
 (да, непременно нижней и отвисшей),
 в легчайших завитках из-под рубанка
 на хлипком кривошипе головы
 (хоть обработка этого устройства
 приема информации в моем
 опять же в этом тягостном устройстве
 всегда ассоциировалась с
 махательным движеньем дровосека),
 я так смогу на циферблат часов,
 густеющих под наведенным взглядом,
 смотреть, что каждый зреющий щелчок
 в старательном и твердом механизме
 корпускулярных, чистых шестеренок
 способен будет в углубленьях меж
 старательно покусывающих
 травинку бледной временной оси
 зубцов и зубчиков
 предполагать наличие,
 о, сколь угодно длинного пути

в пространстве между двух отвесных пиков
по наугад провисшему шпагату
для акробата или для канато...
канатопроходимца с длинной палкой,
в легчайших завитках из-под рубанка
на хлипком кривошипе головы,
вот уж тогда смогу я, дребезжа
безвольной чайной ложечкой в стакане,
как будто иллюстрируя процесс
рождения галактик или же
развития по некоей спирали,
хотя она не будет восходить,
но медленно завинчиваться в
темнеющее доньшко сосуда
с насильно выдавленным солнышком на нем,
если, конечно, к этим временам
не осенят стеклянного сеченья
блаженным знаком качества, тогда
займусь я самым пошлым и почетным
занятием, и медленная дробь
в сознании моем зашевелится
(так в школе мы старательно сливали
нагревшуюся жидкость из сосуда
и вычисляли коэффициент,
и действие вершилось на глазах,
полезность и тепло отождествлялись).
И, проведя неровную черту,
я ужаснусь той пыли на предметах
в числителе, когда душевный пыл
так широко и длинно растечется,
заполнив основание отношенья
последнего к тому, что быть должно
и по другим соображеньям первым.

2

Итак, я буду думать о весах,
то задирая голову, как мальчик,
пустивший змея, то взирая вниз,
облокотясь на край, как на карниз,
вернее, эта чаша, что внизу,

и будет, в общем, старческим балконом,
где буду я не то чтоб заключенным,
но все-таки как в стойло заключен,
и как она, вернее, о, как он
прямолинейно, с небольшим наклоном,
растущим сообразно приближенью
громадного и злого коромысла,
как будто к смыслу этого движенья,
к отвесной линии, опять же для того (!)
и предусмотренной, чтобы весы не лгали,
а говоря по-нашему, чтоб чаша
и пролетала без задержки вверх,
так он и будет, как какой-то перст,
взлетать все выше, выше
до тех пор,
пока совсем внизу не очутится
и превратится в полюс или как
в знак противоположного заряда
все то, что где-то и могло случиться,
но для чего уже совсем не надо
подкладывать ни жару, ни души,
ни дергать змея за пустую нитку,
поскольку нитка совпадет с отвесом,
как мы договорились, и, конечно,
все это будет называться смертью...

3

Но прежде чем...



Ночь эта — теплая, как радиатор.
В ночи такие, такого масштаба,
я забываю, что я гениален, —
лирика душит, как пьяная баба.

Звезды стоят неподвижно и слабо.
Свет их резиновый спилен и свален.
То недоступен — то в доску лоялен,
как на погонах начальника штаба.

Распространяя себя, как кроссворд,
к темному пирсу идет пароход.



Бесконечен этот поезд.
На стоянках просыпаясь,
наблюдатели — по пояс,
но — свалиться опасаясь.

Бесконечен этот поиск.
В мифологии копаясь,
обнаруживаем — полюс,
но хватаемся — за парус.

Помолитесь на дорогу,
от стоянок отрекаясь.
Нету Бога, кроме Бога,
и пророк его — «Икарус».

Полезай на третий ярус
и внуши своим соседям,
что сегодня мы приедем
в оглушительную ясность.



Невозмутимы размеры души.
Непроходимы ее каракумы.
Слева сличают какие-то шкалы,
справа орут — заблудились в глуши.

А наверху, в напряженной тиши,
греки ученые, с негой во взоре,
сидя на скалах, в Эгейское море
точат тяжелые карандаши.

Невозмутимы размеры души.
Благословенны ее коридоры.
Пока доберешься от горя до горя —
в нужном отделе нет ни души.

Существовать — на какие шиши?
Деньги проезжены в таксомоторе.
Только и молишь в случайной квартире:
все забери, только свет не туши.



И Шуберт на воде, и Пушкин в черном теле,
и Лермонтова глаз, привыкший к темноте.
Я научился вам, блаженные качели,
слоняясь без ножа по призрачной черте.

Как будто я повис в общественной уборной
на длинном векторе, плеснувшем сгоряча.
Уже моя рука по локоть в жиже черной
и тонет до плеча...

ЛЮСТРА. САМОЛЕТ

Могла упасть, но все висит
непостижимая цистерна.
Хотели в центре водрузить,
но получилось не по центру.

Скуля, кислот японский стиль.
Так молодого лейтенанта
на юте раздражает шпиль
и хворостина дуэлянта.

Как на посадке самолет,
когда, от слабости немея,
летит с хвостом, хоть не имеет
артикля в русском языке.



В. Высоцкому

Я заметил, что, сколько ни пью,
все равно выхожу из запоя.
Я заметил, что нас было двое.
Я еще постою на краю.

Можно выпрямить душу свою
в панихиде до волчьего воя.
По ошибке окликнул его я, —
а он уже, слава Богу, в раю.

Занавесить бы черным Байкал!
Придушить всю поэзию разом.
Человек, отравившийся газом,
над тобою стихов не читал.

Можно даже надставить струну,
но уже невозможно надставить
пустоту, если эту страну
на два дня невозможно оставить.

Можно бант завязать — на звезде.
И стихи напечатать любые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
и деревья стоят голубые...



В перспективу уходит указка
сквозь рубашку игольчатых карт,
сквозь дождя фехтовальную маску
и подпрыгнувший в небо асфальт.

Эти жесты, толченные в ступе,
метроном на чугунной плите,
чернозем, обнаглевший под лупой,
и, сильней, чем резьба на шурупе, —
голубая резьба

на
винте.

В перспективу втыкается штекер,
напрягается кровь домино.
Под дождем пробегающий сеттер
на краю звукового кино.



Сгорая, спирт похож на пионерку,
которая волнуется, когда
перед костром, сгорая со стыда,
завязывает галстук на примерку.

Сгорая, спирт напоминает речь
глухонемых, когда перед постелью
их разговор становится постелью
и кончится, когда придется лечь.

Сгорая, спирт напоминает воду.
Сгорая, речь напоминает спирт.
Как вбитый гвоздь, ее создатель спит,
заподлицо вколоченный в свободу.

ШТУРМ ЗИМНЕГО

(По мотивам книги Д. Рида

«Десять дней, которые потрясли мир»)

Горит восток зарею новой.
У Александрийского столпа
остановилась толпа.
Я встал и закурил по новой.

Парламентер от юнкеров
велел, чтоб их не убивали.
Они винтовки побросали
и грели руки у костра.

Мы снова ринулись вперед,
кричали мысленно «ура»,
и, представляя весь народ,
болталась сзади кобура.

Так Зимний был захвачен нами.
И стал захваченным дворец.
И над рейхстагом наше знамя
горит, как кровь наших сердец!



Сильный холод больничной палаты
и удар, неподвластный уму.
— Мы пришиты иглой, как заплаты,
к временному континууму.

Так сказал санитару Островский
и прогнул свое тело дугой.
Над ошибкой схалтурил Перовский,
мы прошли по дороге другой.

И на этой дороге студеной —
Беломор, Перекоп, сопромат
и рыдающий скупно Буденный,
с ходу взявший Ворошиловград!

Взгляд его возвратился в канале,
душу, нервы и кровью связал,
грохоча, словно перья в пенале,
когда кашель его сотрясал.

На больничной кровати лежал ты,
презирая больничный уют,
и считал орудийные залпы,
совпадая свой пульс и салют!

ПОКРЫШКИН

Я по первому снегу бреду.
Эскадрилья уходит на дело.
Самолета астральное тело
пуще физического я берегу.

Вот в прицеле запрыгал «Фантом»
в окруженье других самолетов.
Я его осеняю крестом
изо всех из моих пулеметов.

А потом угодила в меня
злая пуля бандитского зла!
Я раскрыл парашют и вскочил на коня,
кровь рекою моя потекла.

И по снегу я полз, как Мересьев.
Как Матросов, искал сухари.
И заплакал, доползв до Берлина,
и обратно пополз к Сивашу.



С кинокамерой, как с автоматом,
ты прошел по дорогам войны.
Режиссером ты был и солдатом
и затронул душевной струны.

Я гранат не бросал в амбразуру
и от спирта не сдох на снегу,
но большую любовь образую
перед всем, что осталось в долгу.

В кабаках, в переулках, на нарах
ты беседы провел по стране
при свече, при лучине, при фарах
и при солнечной ясной луне.

Ты не спел лебединую песню.
Так зачем же, Макарыч, ответь,
вышел ты, как на Красную Пресню,
баррикадами жизни и смерть!

Мы любили тебя — без предела.
И до боли сжимавших сердец,
мы, своими рядами редая,
продолжаем, солдат и отец!



Я пил с Мандельштамом на Курской дуге.
Снаряды взрывались и мины.
Он кружку железную жал в кулаке
и плакал цветами Марины.

И к нам Пастернак по окопу скользя,
сказал, подползая на брюхе:
«О, кто тебя, поле, усеял тебя
седьми майорами в брюках?»

...Блиндаж освещался трофейной свечой,
и мы обнялись спросонок.
Пространство качалось и пахло мочой —
не знавшее люльки ребенок.

ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Уж давно ни мин и ни пожаров
не гремит в просторах тополей,
но стоишь — как Минин и Пожарский
над отчизной родины своей.

Над парадом площади родимой
городов и сел победных марш,
вдовы сердце матери любимых
слезы душу верности отдашь.

Не забудем памятный Освенцим
грудью Петрограда москвичи!
Мы сумеем Джоуля от Ленца,
если надо, снова отличить.

Пусть остался подвиг неизвестным,
поколеньем имени влеком,
ты войдешь, как атом неизвестный,
в менделиц Таблеева закон!



Подполковник сидит в самолете.
Бьет в бетон реактивная пыль.
Он сейчас в боевом развороте
улетит в Израиль.
Что мы знаем о смелом пилоте,
пионере космических трасс?
Он служил на космическом флоте,
а теперь улетает от нас.
Вы, наверное, лучше соврете,
только это не сказка, а быль —
то, что он в боевом самолете
улетел в Израиль!
И теперь он живет в Израиле,
где капиталистический строй.
Вы его никогда не любили,
а он был — межпланетный герой.

НЕВЕНОК СОНЕТОВ

1

Сегодня я задумчив, как буфет,
и вынимаю мысли из буфета,
как длинные тяжелые конфеты
из дорогой коробки для конфет.

На раскладушке засыпает Фет,
и тень его, косящая от Фета,
сливаясь с тенью моего буфета,
дает простой отчетливый эффект.

Он завтра сядет на велосипед
и, медленно виляя вдоль кювета,
уедет навсегда, как вдоль рассвета,

а я буду смотреть, как сквозь лафет¹,
сквозь мой сонет на тот велосипед
и на высокий руль велосипеда.

2

Прости, Господь, мой сломанный язык
за то, что он из языка живого
чрезмерно длинное, неправильное слово
берет и снова ложит на язык.

Прости, Господь, мой сломанный язык
за то, что, прибежав на праздник слова,
я произнес лишь половину слова,
а половинку спрятал под язык.

Конечно, лучше спать в анабиозе
с прикушенным и мертвым языком,
чем с вырванным слоняться языком,

¹ Паркет, крокет, лорнет, привет — нужное выделить и употребить.

и тот блажен, кто с этим не знаком,
кто не хотел, как в детстве, на морозе
лизнуть дверную ручку...

3

В густых металлургических лесах,
где шел процесс создания хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах.

Там до весны завязли в небесах
и бензовоз, и мушка дрозофила.
Их жмет по равнодействующей сила,
они застряли в сплюснутых часах.

Последний филин сломан и распилен.
И, кнопкой канцелярскою прищиплен
к осенней ветке книзу головой,

висит и размышляет головой:
зачем в него с такой ужасной силой
монтирован бинокль полевой!

4

Громадный том листаги наугад.
Качели удивленные глотали
полоску раздвигающейся дали,
где за забором начинался сад.

Все это называлось «детский сад»
и сверху походило на лекало.
Одна большая няня отсекала
все то, что в детях пёрло наугад.

И вот теперь, когда вылезает гад
и мне долдонит, прыгая из кожи,
про то, что жизнь похожа на парад,

я думаю: какой же это ад!
Ведь только что вчера здесь был детсад,
стоял грибок и гений был возможен.

5

Когда мне говорят о простоте,
большое уравнение упрóбив,
я скалю зубы и дрожу от злости,
и мой сонет ползет на животе

и скалит зубы, и дрожит от злости,
и вопиет в священной простоте:
закройте рот, вас пригласили в гости,
и может быть, что мы совсем не те,

кого здесь ожидают в темноте,
перебирая черепа и кости,
что случай у материи в долгу.

Я не творю, но я играю в кости,
а если так, откуда знать могу,
как упадут те кости.

6

В лесу осеннем зимний лес увяз.
Как будто их местами поменяли.
И всем деревьям деньги разменяли.
Природа спит, надев противогаз.

Не шевелится углекислый газ.
Не дышит свет на воду. В одеяле
спит стоя лес, уйдя в свои детали:
в столбы, в деревья, в щели, в лунку, в паз.

Природа спит, как длинный-длинный пас,
нацеленный в неведомые дали,
и крепко спит, не закрывая глаз,

и крепко спит, как профиль на медали.
И крепко спит, уткнувшись в параллели
своих прямых. И не глядит на нас.

7. Блатной сонет

Блажен, кто верует. Но трижды идиот,
кто на однажды выбранной планете,
презрев конфигурации природ,
расставит металлические сети.

О Господи, чего еще он ждет?
Райком закрыт, хозяин на обеде.
Слова бегут, как маленькие дети,
и вдруг затылком падают на лед.

Сощуря глаз, перекури в рукав,
что этот голубь, с облака упав,
наверно, не зависит от условий,

где, скажем, размножается жираф.
И если мысль не равнозначна слову,
тогда зачем мы ловим этот кайф?

8. Сонет без рифм

Мы говорим на разных языках.
Ты бесишься, как маленькая лошадь,
а я стою в траве перед веревкой
и не могу развесить мой сонет.

Он падает, а я его ловлю.
Давай простим друг друга для начала,
развяжем этот узел немудреный
и свяжем новый, на другой манер.

Но так, чтобы друг друга не задеть,
не потревожить руку или ногу.
Не перерезать глотку, наконец.

Чтоб каждый, кто летает и летит,
по воздуху вот этому летая,
летел бы дальше, сколько ему влезет.

9

О, Господи, води меня в кино,
корми меня малиновым вареньем.
Все наши мысли сказаны давно,
и все, что будет, — будет повтореньем.

Как говорил, мешая домино,
один поэт, забытый поколеньем,
мы рушимся по правилам деленья,
так вырви мой язык — мне все равно!

Над толчеей твоих стихотворений
расставит дождик знаки ударений,
окно откроешь — а за ним темно.

Здесь каждый ген, рассчитанный, как гений,
зависит от числа соударений,
но это тоже сказано давно.

10

Вдоль коридора зажигая свет
и щурясь от пронзительного света,
войди, мой друг, в святилище сонета,
как в дорогой блестящий туалет.

Здесь все рассчитано на десять тысяч лет,
и длится электрическое лето
над рыбьим жиром тусклого паркета,
чтоб мы не наступили на паркет.

Нас будут заворачивать в пакет,
чтоб ноги не торчали из пакета,
согласно положений этикета,

но даже через десять тысяч лет
я раздвоюсь и вспыхну, как букет,
в руках у хмурого начальника пикета.

11

Как хорошо у бездны на краю
загнуться в хате, выстроенной с краю,
где я ежеминутно погибаю
в бессмысленном и маленьком бою.

Мне надоело корчиться в строю,
где я уже от напряженья лаю.
Отдам всю душу октябрю и маю,
но не тревожьте хижину мою.

Как пьяница, я на троих трою,
на одного неровно разливаю,
и горько жалуюсь, и горько слезы лью.

Я всех вас видел где-то далеко.
Но по утрам под жесткую струю
свой мозг, хоть морщуся, но подставляю.

12

О. Господи, я твой случайный зритель.
Зачем же мне такое наказание?
Ты взял меня из схемы мирозданья
и снова вставил, как предохранитель.

Рука и рок. Ракета и носитель.
Когда же по закону отрицанья
ты отшвырнешь меня в момент сгорания,
как сокращенный заживо числитель?

Убей меня. Я твой фотолюбитель.
На небеса взобравшийся старатель
по уходящей жилке золотой.

Убей меня. Сними с меня запой
или верни назад меня рукой —
членистоногой, как стогокопнитель.

13. Вечерний сонет

Цветы увядшие, я так люблю смотреть
в пространство, ограниченное слева
ромашками. Они увяли слева,
а справа — астры заспанная медь.

По вечерам я полюбил смотреть,
как в перекрестке высохшего зева
спускается на ниточке припева
цветок в цветок, как солнечная клеть.

Тогда мой взгляд, увязнувший на треть
своей длины, колеблется меж нами,
как невод провисая между нами,

уже в том месте выбранный на треть,
где аккуратно вставленная смерть
глядит вокруг открытыми глазами.

14

В электролите плотных вечеров,
где вал и ров веранды и сирени
и деревянный сумрак на ступенях,
ступеньками спускающийся в ров,

корпускулярный, правильный туман
раскачивает маятник фонарный,
скрипит фонарь, и свет его фанерный
дрожит и злится, словно маленький шаман.

Недомоганье. Тоненький компот.
Одна больная гласная поет,
поет и зябнет, поджимая ноги,

да иногда замрет на полдороге,
да иногда по слабенькой дороге
проедет трикотажный самолет...

ЛИЦОМ К ПРИРОДЕ

1

За огородом начинался лес.
И развивалась леса сердцевина.
В ней шевелилась длинная пружина
и шелестел таинственный процесс.
И, заплетаясь, уходила в лес
густая полимерная малина.
Стояло солнце, плотное, как глина,
и длинный луч качался, как отвес.
Делился пруд и снова тарахтел.
Он первый лед разламывал, как китель,
и снова сокращался, как числитель,
и снова что-то выдумать хотел.
С какой глубокомысленной тоской
копаясь в темном фейерверке видов,
он ворошил новорождённых гадов
и потрошил разгневанной рукой!
Но как цвела наждачная роса,
когда сходились, щелкнув, варианты
и шли огнеупорные мутанты,
как будто бы десанты, сквозь леса.
Как хорошо в корпускулярный хлам
уйти с башкой, вращаясь, как Коперник,
и, наступив с размаху в муравейник,
провозгласить: «Природа есть не храм!»
Московский лес игрушечно кипит.
В нем зайцы мрут и плавают министры.
А он стоит, промытый, как транзистор,
и щелкает,
и дышит,
и свистит!..

Цветы не пахнут. Пахнет самосвал.
 Два трактора буксуют на дороге.
 Четыре агронома, свесив ноги,
 сидят на стульях около реки.
 Сидят и смотрят вдаль из-под руки.
 Туда, где жар закатов остывает.
 И восемь рыбок медленно всплывают
 вниз, как телефонные звонки.
 К ним подойдет, расталкивая плес,
 гофрированный гад из мезозоя,
 он без сапог, на нем пальто чужое,
 он весь — как бронепоезд без колес...
 Они зажарят мясо — и съедят.
 Задвинут речь — и свалит их зевота.
 Потом внезапно вспомнят, что суббота,
 и спиннинги над ними засвистят...
 «Природа есть не храм». И не вольфрам!
 В ней можно наступать на муравейник!

А по утрам гремит, как ручной мойщик,
 наполненный водою по утрам.

Сама в себе развешана природа.
 На холмах экспонируют холмы
 своих холмов округлости, где мы
 гуляем в котелках и с веерами,
 мужчины — в брюках, дамы — с топорами,
 собачки с автоматиками и
 небритый Марк в рубашке из бензина.
 За деньги можно, вынимая рук
 пустые клешни из вечерних брюк,
 смотреть, как развивается природа:
 направо — лес, налево — вытрезвитель,
 а прямо — речка в собственном соку,
 и пароход, похожий на клюку,
 и паровоз над ними, как числитель.
 Прекрасен лес и в лесе человек!

Я так люблю варенье из малины.
По почве погулять, насобирать
для самовара пучеглазых шишек
и возвратиться к вечеру домой...

.....

А загорится — бомбами потушим!



Над оседающим раствором,
невозмутимого размера,
тупым вращающимся тором
всплывала лунная химера.

Над металлическим забором.
Над покосившимся примером.
Где наклонялись над зазором
два равномерных инженера.

Дышало гладом. Пахло мором.
Как рыбьим жиром, душистым жаром.
Тупым отбором, диким жором
в прудах, лесах и на базарах.

В зеленых кольцах вился гад.
И звезды плавали в болоте.

Я спал. Мне снился детский сад,
как ДНК на повороте.



Процесс написанья стихов
сродни голубому процессу:
созвездию, выдоху, лесу,
но выхода нет из лесов.

Задвинут тяжелый засов.
Сдвигая массивные грозы,
как льдины, всплывают вопросы
над белым объемом лесов.

Не сдвинутся чаши весов.
Безвыходность биоценоза.

И ноет, как будто заноза,
в конце посещения лесов.

ИЗ ПОЭМЫ

Мне триста лет. Мой механизм распался,
перебирая в пальцах этот ветер,
гребя на месте, деревянный мозг,
куда б ни шел, повсюду натыкался
на пустоту. Я никого не встретил,
кто мне помог бы перекинуть мост

от этой потемневшей крестовины,
расплющенной со страшным напряженьем
усилием, похожим на усы,
до глубины, где, подставляя спины
раздавленному надвое теченью,
вращаются такие же винты.

Напрасно я стремился, пропуская
изрезанную плоскостью громаду
сквозь пищеводы приводных ремней,
заделать брешь в сознании. Глухая
струилась плоть, подобно водопаду,
и исчезала между двух камней.

Я видел степь и дерзкий элеватор,
и поршневые страсти Ползунова,
и террикон, и домну на крови.
Я расправлял сознание, как локатор,
но, как всегда, недоставало снова
хорошей смазки, дружбы и любви.

Мне триста лет. Под жаворонком жирным,
купающимся в небе оловянном,
я лопасть побелевшую держу
и, как пилой заржавленной, по жилам
рассохшимся, пустым и деревянным
таким подбьем ножица вожу.

ФОТОФАКТ

Хорошо работает тралмастер,
снюрревод кроит из ничего.
И о том, что «нету в жизни счастья»,
на руке написано его.
Он глядит веселыми глазами
на большой, как дом, БМРТ
и большими красными руками
разливает водку в темноте.
Ни жены, ни качки, ни начальства,
не боится Федя ничего.
И о том, что много в жизни счастья,
на лице написано его.



Древесный вечер. Сумрак. Тишина.
Распатанные, длинные коровы.
Их звать никак, их животы багровы,
и ихний кал лежит, как ордена.



Там за окошком развивался лес.
Как яйцеклетка. (Как грудная жаба.)
Внутри него злодействует отвес,
а снег над ним стоит,
как дирижабль.
Не падая, не опускаясь вниз,
но так располагаясь вдоль сетчатки,
что вместе с ним качаются участки
земли, как опрокинутый карниз.
И вместе с арматурой корней
они спрессованы в одно большое эхо
плотней, чем орден, тяжелей, чем бляха
с насильно выдавленным якорем на ней...

Так длился лес
из белых электричек,
и, вваливаясь, трудовой народ,
когда я говорил, смотрел мне в рот,
и я давал им
сигарет и спичек.



Извивается, как керосин,
непристойная гладь озерная.
Бросишь бомбу — всплывут караси.
Кинешь трешку — всплывет «ледяная»¹.

¹ «Ледяная» — собирательное название дешевых сортов рыб (торг.) —
Здесь и далее — примечания автора.



Туда, где роца корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по желтой насыпи гуляет.

Ее, для глаза незаметная,
непреднамеренно хипповая,
свисает сумка с инструментами,
в которой дрель, уже не новая.

И вот, как будто полоумная
(хотя вообще она дебильная),
она по болтикам поломанным
проводит стершимся напильником.

Чего ты ищешь в окружающем
металлоломе, как примата,
ключи вытаскиваешь ржавые,
лопатой бьешь по трансформатору?

Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя ее никто не просит.

Ее такое время косит,
в нее вошли такие бесы...
Она обед с собой приносит,
а то и вовсе без обеда.

Вокруг нее свистит природа
и электрические приводы.
Она имеет два привода
за кражу дросселя и провода.

Ее один грызет вопрос,
она не хочет раздвоиться:

то в стрелку может превратиться,
то в маневровый паровоз.

Ее мы видим здесь и там.
И, никакая не лазутчица,
она шагает по путям,
она всю жизнь готова мучиться,

но не допустит, чтоб навек
в осадок выпали, как сода,
непросвещенная природа
и возмущенный человек!

ИЗ ПОЭМЫ

Я мастер по ремонту крокодилов.
Окончил соответствующий вуз.
Хочу пойти в МИМО, но я боюсь,
что в эту фирму не берут дебилов.

Мы были все недалняя родня.
Среди насмешек и неодобренья
они взлетали в воздух у меня,
лишенные клыков и оперенья.

Я создал новый тип. Я начинал с нуля.
Я думаю, что вы меня поймете.
Я счастлив был, когда на бреющем полете
он пролетал колхозные поля.

Но, видно, бес вошел в ту ночь в меня,
и голос мне сказал: чтобы задаром
он не пропал, ему нужна броня.
И вот я оснастил его радаром.

Я закупил английский пулемет.
На хвост поставил лазерную пушку...

Последний раз его видели в Кушке.
Меня поймали, выбрили макушку,
и вот о нем не слышу целый год.

Хотя, конечно, говорящий клоп
полезнее, чем клоп неговорящий,
но я хочу работы настоящей,
в которой лучше действует мой лоб.

Я мастер по ремонту крокодилов.
Вокруг меня свобода и покой.
Но чтоб в груди дремали жизни силы,
я не хочу на все махнуть рукой.

Прошу вернуть меня назад обратно
(не верьте, что болтают про меня).
И мы с моим биноклем семикратным
продолжим изучение огня!

ДОБАВЛЕНИЕ К СОПРОМАТУ

Чтобы одной пулей
загасить две свечи,
нужно последние расположить так,
чтобы прямая линия,
соединяющая зрачок глаза,
прорезь планки прицеливания
и мушку,
одновременно
проходила бы через центры обеих мишеней.
В этом случае,
произведя выстрел,
можно погасить обе свечи —
при условии, что пуля
не расплющится о пламя первой.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ

За харчевней — вытрезвитель.
А над ним железный флюгер.
По дороге топал Питер,
по большой дороге Брейгель.

Как на глобусе, наклонна
полупьяная Европа.
С караваном до Лиона,
ну а дальше — автостопом.

Ну а дальше — как попало.
Ничего тут не попишешь.
В Антверпене он покакал,
а во Франции пописал.

В голове гуляет ветер.
Дождь на склонах травки вытер.
Хорошо шагает Петер.
Хорошо рисует Питер.

В Нидерландах скукотища.
Книжки жгут, и всем приятно.
А в Италии — жарница.
И рисуют — непонятно...

А в Италии рисуют —
как нигде не нарисуют.
Только кто так нарисует,
так, как Питер нарисует!

Дальше к югу — больше перца,
алкоголя или Босха.
Под телегой в поле Петер
засыпает, пьяный в доску.

Он проспит четыре века
и проснется — очень трезвый.

И потопают со смехом
по дороге, по железной.

Мимо сада-огорода,
мимо бани-ресторана,
эх, мимо бомбы водородной,
эх, мимо девочек в порту!



Ласточка с весной
в сени к нам летит...

В глуши коленчатого вала,
в коленной чашечке кривой
пустая ласточка летала
по возмутительной кривой.
Она варьировала темы
от миллиона до нуля:
инерциальные системы,
криволинейные поля.
И вылетала из лекала
в том месте, где она хотела,
но ничего не извлекала
ни из чего, там, где летела.
Ей, видно, дела было мало
до челнока или затвора.
Она летала как попало,
но не оставила зазора
ни между севером и югом,
ни между Дарвином и Брутом,
как и диаметром и кругом,
как и термометром и спрутом,
между Харибдой и калибром,
как между Сциллой и верлибром,
как между Беллой и Новеллой,
как и новеллой и Новеллой.
Ах, между Женей и Андреем,
ах, между кошкой и собакой,
ах, между гипер- и бореем,
как между ютом или баком.
В чулане вечности противном
над безобразною планетой
летала ласточка активно,
и я любил ее за это.



Да здравствует старая дева,
когда, победив свою грусть,
она теорему Виёта
запомнила всю наизусть.

Всей русской душою проникла,
всем пламенем сердца вошла
и снова, как пена, возникла
за скобками быта и зла.

Она презирает субботу,
не ест и не пьет ничего.
Она мозговую работу
поставила выше всего.

Ее не касается трепет
могучих инстинктов ее.
Все вынесет, все перетерпит
суровое тело ее,

когда одиноко и прямо
она на кушетке сидит
и, словно в помойную яму,
в цветной телевизор глядит.

Она в этом кайфа не ловит,
но если страна позовет —
коня на скаку остановит,
в горящую избу войдет!

Малярит, латает, стирает,
за плугом идет в борозде,
и северный ветер играет
в косматой ее бороде.

Она ничего не кончала,
но мысли ее торжество,

минуя мужское начало,
уходит в начало всего!

Сидит она, как в назиданье,
и с кем-то выходит на связь,
как бы над домашним заданьем,
над всем мирозданьем склонясь.



Игорь Александрович Антонов,
Ваша смерть уже не за горами.
То есть, через несколько эонов
ты как светоч пролетишь над нами.

Пролетишь, простой московский парень,
полностью, как Будда, просветленный.
На тебя посмотрят изумленно
Рамакришна, Кедров и Гагарин.

Я уже давно не верю сердцу,
но я твердо помню: там, где ты
траванул, открыв культурно дверцу,
на асфальте выросли цветы!

Потому-то в жизни этой гадской,
там, где тень наводят на плетень,
на подвижной лестнице Блаватской
я займу последнюю ступень.

Кали-юга — это центрифуга.
Потому, чтоб с круга не сойти,
мы стоим, цепляясь друг за друга
на отшибе Млечного Пути.

А когда навеки план астральный
с грохотом смешается с земным,
в расклеванных джинсах иностранных,
как Христос, пройдешь ты по пивным.

К пьяницам сойдешь и усоногим.
К тем, кто вовсе не имеет ног.
И не сможет называться йогом,
кто тебя не пустит на порог.

А когда в последнем воплощенье
соберешь всего себя в кулак,

пусть твое сверхслабое свечение
поразит невежество и мрак!

Подойдешь средь ночи к телефону —
аж глаза вылазят из орбит:
Игорь Александрович Антонов
как живой с живыми говорит!

Гений твой не может быть измерен.
С южных гор до северных морей
ты себя навек запараллелил
с необъятной родиной моей!



*Тушинским кочегарам
Славе В. и Толе И.*

1

Кочегар Афанасий Тюленин,
что напутал ты в древнем санскрите?
Ты вчера получил просветленье,
а сегодня — попал в вытрезвитель.

Ты в иное вошел измеренье,
только ноги не вытер.

Две секунды коротких
пребывал ты в блаженном сатори.
Сразу стал разбираться в моторе
и в электропроводке.

По котельным московские йоги,
как шпионы, сдвигают затылки,
а заметив тебя на пороге,
замолкают и прячут бутылки.

Ты за это на них не в обиде.
Ты сейчас прочитал на обеде
в неизменном своем Майн Риде
все, что сказано в ихней Риг-Веде.

Все равны перед Богом, но Бог
не решается, как уравниенье.
И все это вчера в отделенье
объяснил ты сержанту как мог.

Он тебе предложил раздеваться,
и, когда ты курил в темноте,
он не стал к тебе в душу соваться
со своим боевым каратэ.

Ты не знаешь, просек ли он суть
твоих выкладок пьяных.
Но вернул же тебе он «Тамянку»...

2

А ведь мог не вернуть.



Я добрый, красивый, хороший
и мудрый, как будто змея.
Я женщину в небо подбросил —
и женщина стала моя.

Когда я с бутылкой «Массандры»
иду через весь ресторан,
весь пьян, как воздушный десантник,
и ловок, как горный баран,

все пальцами тычут мне в спину,
и шепот вдогонку летит:
он женщину в небо подкинул,
и женщина в небе висит...

Мне в этом не стыдно признаться:
когда я вхожу, все встают
и лезут ко мне обниматься,
целуют и деньги дают.

Все сразу становятся рады
и словно немножко пьяны,
когда я читаю с эстрады
свои репортажи с войны,

и дело до драки доходит,
когда через несколько лет
меня вспоминают в народе
и спорят, как я был одет.

Решительный, выбритый, быстрый,
собравший все нервы в комок,
я мог бы работать министром,
командовать крейсером мог.

Я вам называю примеры:
я делать умею аборт,

читаю на память Гомера
и дважды сажал самолет.

В одном я виновен, но сразу
открыто о том говорю:
я в космосе не был ни разу,
и то потому, что курю...

Конечно, хотел бы я вечно
работать, учиться и жить
во славу потомков беспечных
назло всем детекторам лжи,

чтоб каждый, восстав из рутины,
сумел бы сказать, как и я:
я женщину в небо подкинул —
и женщина стала моя!

ПЕРЕДЕЛКИНО

Гальванопластика лесов.
Размешан воздух на ионы.
И переделкинские склоны
смешны, как внутренность часов.

На даче спят. Гуляет горький
холодный ветер. Пять часов.
У переезда на пригорке
с усов слетела стая сов.

Поднялся вихорь, степь дрогнула.
Непринужденна и светла,
выходит осень из загула,
и сад встает из-за стола.

Она в полях и огородах
разруху чинит и разбой
и в облаках перед народом
идет-бредет сама собой.

Льет дождь... Цепных не слышно псов
на штаб-квартире патриарха,
где в центре аглицкого парка
стоит Венера. Без трусов.

Рыбачка Соня как-то в мае,
причалив к берегу баркас,
сказала Косте: «Все вас знают,
а я так вижу в первый раз...»

Льет дождь. На темный тес ворот,
на сад, раздерганный и нервный,
на потемневшую фанерку
и надпись «Все ушли на фронт».

На даче сырость и бардак.
И сладкий запах керосина.

Льет дождь... На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.

С крестов слетают кое-как
криволинейные вороны.
И днем и ночью, как ученый,
по кругу ходит Пастернак.

Направо — белый лес, как бредень.
Налево — блок могильных плит.
И воет пес соседский, Федин,
и, бедный, на ветвях сидит.

И я там был, мед-пиво пил,
изображая смерть, не муку,
но кто-то камень положил
в мою протянутую руку.

Играет ветер, бьется ставень.
А мачта гнется и скрыпит.
А по ночам гуляет Сталин.
Но вреден север для меня!

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ СТИХИ

«Шаг в сторону — побег!»
Наверно, это кайф —
родиться на земле
конвойным и Декартом.
Гусаром теорем!
Прогуливаясь, как
с ружьем наперевес,
с компьютерами Спарты.

Какой погиб поэт
в Уставе корабельном!
Ведь даже рукоять
наборного ножа,
нацеленная вглубь,
как лазер самодельный,
сработана как бред,
последний ад ужа...

Как, выдохнув, язык
выносит бред пословиц
на отмель словарей,
откованных, как Рим.
В полуживой крови
гуляет электролиз —
невыносимый хлам,
которым говорим.

Какой-то идиот
придумал идиомы,
не вынеся тягот
под скрежет якорей...
Чтоб вы мне про Фому,
а я вам — про Ерему.
Читатель рифмы ждет...
Возьми ее, нахал!

Шаг в сторону — побег!
Смотри на вещи прямо:
Бретон — сюрреалист,
А Пушкин был масон.
И ежели далай,
то непременно — лама.
А если уж «Союз»,
то, значит, — «Аполлон».

И если Брет — то Гарт,
Мария — то Ремарк,
а кум — то королю,
а лыжная — то база.
Коленчатый — то вал,
архипелаг...

здесь шаг
чуть в сторону — пардон,
мой ум зашел за разум.

РЕПОРТАЖ ИЗ ГУНИБА¹

Куда влечет тебя свободный ум...

Куда влечет меня свободный ум?
И мой свободный ум из Порт-Петровска²,
хотя я по природе тугодум,
привел меня к беседке шамилевской.

Вот камень. Здесь Барятинский сидел.
Нормальный камень. Выкрашенный мелом.
История желает здесь пробела...
Так надо красным. Красным был пробел.

Он, что ли, сам тогда его белил?
История об этом умолчала.
Барятинский?.. Не помню. Я не пил
с Барятинским. Не пью я с кем попало.

Да, камень, где Барятинский сидел.
Любил он сидя принимать — такое
прощается — плененных: масса дел!
Плененные, как самое простое,
сдаваться в плен предпочитали стоя.
Наверно, чтоб не пачкаться о мел.

Доска над камнем. Надпись. Все путем.
Князь здесь сидел. Фельдмаршал? — это ново.
Но почему-то в надписи о том,
кто где стоял, не сказано ни слова.

Один грузин (фамилию соврем,
поскольку он немножко знаменитый)

¹ Гуниб — гора и селение в Дагестане, последний оплот Шамиля — имама, предводителя горского освободительного движения, который после двадцатипятилетней войны, чтобы спасти народ от полного истребления, добровольно сдался в плен фельдмаршалу Барятинскому. В 1953 году, при Сталине, постановлением ЦК Шамиль был объявлен турецким и английским шпионом.

² Петровск-Порт — современная Махачкала.

хотел сюда приехать с динамитом.
«Вот было б весело, вот это был бы гром!»

Конечно, если б парни всей земли
с хорошеньким фургоном автоматов,
да с газаватом¹, ой, да с «Айгешатом»²,
то русские сюда бы не прошли.

К чему сейчас я это говорю?
К тому, что я претензию имею,
нет, не к Толстому,
этим не болею —
берите выше — к русскому царю.

Толстой, он что? Простой артиллерист.
Прицел, наводка, бац! — и попадание:
Шамиль — тиран, кошмарное создание,
шпион английский и авантюрист.

А царь, он был рассеян и жесток.
И так же, как рассеянный жестоко
вместо перчатки на руку носок
натягивает морщась, так жестоко
он на Россию и тянул Восток.

Его, наверно, раздражали пятна
на карте... Или нравился Дербент.
Это, конечно, маловероятно,
хотя по-человечески понятно:

оно приятно, все-таки Дербент!
«В Париже скучно, едемте в Дербент?»
Или: «Как это дико, непонятно:
назначен губернатором в Д Э Р Б Э Н Т!»

¹ Газават — священная война мусульман.

² "Айгешат" — портвейн.

И. М.

На холмах Грузии лежит такая тьма,
что я боюсь, что я умру в Багеби.
Наверно, Богу мыслилась на небе
Земля как пересыльная тюрьма.

Какая-то такая полумгла,
что чувствуется резкий запах стойла.
И, кажется, уже разносят пойло...
Но здесь вода от века не текла.

Есть всюду жизнь.
И тут была своя, —
сказал поэт и укатил в Европу.
Сподобиться такому автостопу
уже не в состоянии даже я.

Неприхотливый город на крови
живет одной квартирой коммунальной
и рифмы не стесняется банальной,
сам по себе сгорая от любви.

А через воды мутные Куры,
непринужденно руку удлинняя,
одна с другой общается пивная,
протягивая «ронсон» — прикури!

Вдвойне нелеп здесь милиционер,
когда, страдая от избытка такта,
пытается избавиться от факта
не правонарушения — манер.

На эту пару рифм другой пример:
это вполне благоприятный фактор,
когда не нужен внутренний редактор
с главным редактором: он не миллионер.

Я от Кавказа делаюсь болтлив.
И, может быть, сильнее, чем от «Кавказа».
Одна случайно сказанная фраза
сознание обнажает, как отлив.

А там стоит такая полумгла,
что я боюсь, что я умру в Багеби.
Наверно, Богу мыслился на небе
наш путь как вертикальная шкала...

На Красной площади всего круглей земля!
Всего горизонтальной трасса БАМа.
И мы всю жизнь толчемся здесь упрямо,
как Вечный Жид у вечного нуля.

И я не понимаю, хоть убей,
зачем сюда тащиться надо спяну,
чтобы тебя пристукнул из нагану
под Машуком какой-нибудь плебей.

За окошком света мало,
белый снег валит, валит.
Возле Курского вокзала
домик маленький стоит.

За окошком света нету,
из-за шторок не идет.
Там печатают поэта —
«шесть копеек разворот».

Сторож спит, культурно пьяный.
Бригадир не наступит —
на машине иностранной
аккуратно счетчик сбит.

Без напряжения, без подлянки
дело верное идет
на Ордынке, на Полянке,
возле Яузских ворот...

Эту книжку в ползарплаты
и нестрашную на вид
в коридорах Госиздата
вам никто не подарит.

Эта книжка ночью поздней,
как сказал один пиит,
под подушкой дышит грозно,
как крамольный динамит.

Но за то, что много света
в этой книжке между строк,
два молоденьких поэта
получают первый срок.

Первый срок всегда короткий,
а добавочный — длинней.

Там, где рыбой кормят четко,
но без вилок и ножей.

И когда их, как на mine,
далеко заволокло,
пританцовывать вело,
кто-то сжалился над ними:
что-то сдвинулось над ними,
в небесах произошло.

За окошком света нету.
Прорубив его в стене,
запрещенного поэта
напечатали в стране.

«Против лома нет приема» —
и крамольный динамит
без особенного грома
прямо в камере стоит.

Два подельника ужасных,
два бандита — Бог ты мой! —
недолеченных, мосластых,
по шоссе Энтузиастов
возвращаются домой...

И кому все это надо,
и зачем весь этот бред,
не ответит ни Полянка,
ни Ордынка, ни Лубянка,
ни подземный Ленсовет,
как сказал другой поэт.

СТИХИ О «СУХОМ ЗАКОНЕ», ПОСВЯЩЕННЫЕ СВЕРДЛОВСКОМУ РОК-КЛУБУ

Высоцкий разбудил рокеров,
рокеры predeterminedили XXVII съезд КПСС.

А. Козлов

Он голосует за «сухой закон»,
балдея на трибуне, как на троне.
Кто он? Писатель, критик, чемпион
зачатий пьяных в каждом регионе,
лауреат всех премий... вор в законе!
Он голосует за «сухой закон».

Он раньше пил запоем, как закон,
по саунам, правительственным дачам,
как идиот, забором обнесен,
по кабакам, где счет всегда оплачен,
а если был особенно удачлив —
со Сталиным — коньяк «Наполеон».

В двадцатых жил (а ты читай — хлестал),
чтобы не спать, на спирте с кокаином
и вел дела по коридорам длинным,
уверенно идя к грузинским винам,
чтобы в конце прийти в Колонный зал
и кончить якобинской гильотиной...
Мне проще жить — я там стихи читал.

Он при Хрущеве квасил по штабам,
при Брежневе по банькам и блядям,
а при Андропове — закрывшись в кабинете.
Сейчас он пьет при выключенном свете,
придя домой, скрываясь в туалете.
Мне все равно, пусть захлебнется там!

А как он пил по разным лагерям
конвойным, «кумом», просто вертухаем,
когда, чтоб не сойти с ума, бухая

с утра до ночи, пил, не просыхая...
«Сухой закон» со спиртом пополам!

Я тоже голосую за закон,
свободный от воров и беззаконий,
и пью спокойно свой одеколон
за то, что не участвовал в разгоне
толпы людей, глотающей озон,
сверкающий в гудящем микрофоне.

Пью за свободу, с другом, не один.
За выборы без дури и оглядки.
Я пью за прохождение кабин
на пунктах в обязательном порядке.
Пью за любовь и полную разрядку!
Еще — за наваждение причин.

Я голосую за свободы клоч,
за долгий путь из вымершего леса,
за этот стих, простой, как без эфеса,
куда хочу направленный клинок.
За безусловный двигатель прогресса,
за мир и дружбу, за свердловский рок!

октябрь 1986



Будь, поэт, предельно честен.
Будь, поэт, предельно сжатым.
Напиши для нас в «Известьях»
для народных депутатов!

Ведь писал же ты про БАМ.
Хочешь, рифмой помогу:
«Лучше Родину продам,
чем у Родины в долгу».

С храбрым кукишем в кармане
ты писал для нас подробно
про солдат в Афганистане —
ограниченных, но добрых!

Чтобы все твои творенья
не попали на помойку,
растолкуй про ускоренье,
объясни про перестройку.

Про меня! Пока есть порох —
вон он, гад! Держите гада!
Он из тех, кого которых
перестраивать не надо!

Стань, как правда, неудобен
и, как истина, коварным.
Покажи, на что способен,
откровенная бездарность!

Чтоб от смелости мурашки
пробежали до макушки,
напиши нам про шарашки,
ну а лучше — про психушки.

Чтобы наши октябрюта
перестройку не пропили,

расскажи, как бюрократы
тридцать лет тебя душили.

Объясни ты полупьяным,
одурманенным суфизмом,
что не надо наркоманам
водку смешивать с марксизмом.

Водку смешивать с торговлей
в развитом социализме —
объясни, что не позволим
до конца загробной жизни.

Спой мне песню, как синица
за водой поутру шла,
спой мне песню, как девица
тихо за морем жила...

С офицерами ходила —
с академиком пошла!

Чтобы всем все стало ясно
и всему пришел конец,
объясни ты нам про гласность,
полудиким, наконец.

Растолкай ты наши души,
а не то мы все пропьем,
безобразия нарушим,
к солидарности придем.

Пусть твой стих про все на свете
откровенно поразит.
А не то тебя, как ветер,
Горбачев опередит!

ДРУЖЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ АНДРЕЮ КОЗЛОВУ В ГОРОД СВЕРДЛОВСК ПО ПОВОДУ ГЛАСНОСТИ

Привет тебе, блистательный Козлов!
В Москве зима. Все движется со скользом.
В пивбарах квас, а в ресторанах — плов.
Последний Пленум был не в нашу пользу.

Вчера опять я был в Политбюро
и выяснил, как Ельцина снимали...
Все собрались в Георгиевском зале,
шел сильный газ, и многих развезло.

И вдруг с ножом он вышел из угла,
высокий, стройный, в вылинявшей тройке,
и надпись «Ножик в спину перестройке»
по лезвию затейливая шла.

И так сказал: «Все бред и ерунда.
Я знаю лучше всех про все на свете.
Перед народом совестно, когда
вы с гласностью играете, как дети.

Вопрос неясен, но предельно прост —
К свободе путь да будет кровью полит!
Вас надо всех немедленно уволить,
чтобы я занял самый главный пост!»

Ему резонно отвечал Егор,
с достоинством, спокойно и без мата:
«Ты сильный парень, но на дипломата
не тянешь, Боря. Положи топор!»

Лучаясь улыбкой доброй, пряча взгляд,
подумал вслух начальник всех министров:
«Мы вместе с ним ходили в детский сад,
уже тогда прослыл он экстремистом».

Прикрыв глаза холеною рукой
и трогая под мышкой португеею,
сказал с ухмылкой Чебриков: «Не смею
вам возразить, но сам ты кто такой?»

Тут Язов круто тему повернул
и навинтил на ствол пламегаситель:
«Кто поднял меч на спецраспределитель,
умрет от этой пули. Встань на стул!»

Все повскакали с мест, и под галдеж,
чтоб сзади не зашли и не связали,
он отскочил к стене и бросил нож
на длинный стол в Георгиевском зале.

Потом его прогнали все сквозь строй.
Представь, Козлов, — в Георгиевском зале!
Один не бил, не помню, кто такой...
Он крикнул напоследок, чтоб мы знали:
«Я вольный каменщик, я уйду в Госстрой!»

Прости, Козлов, я это так слышал.
А может, было все гораздо хуже.
Я гласностью, как выстрелом, разбужен.
Хочу сказать: убили наповал!

О гласности, Козлов, я все о ней,
голубушке, которой так и нету.
Зато лафа подвальному поэту:
чем меньше гласности, тем мой язык длинней.

В Москве зима. Зима не в нашу пользу.
В пивбарах квас, а в ресторанах плов.
Как говорится, нож прошел со скользом...
Привет тебе, блистательный Козлов!

8 ноября 1987



О чем базарите, красные патриоты?
Езжайте в Грузию, прочистите мозги.
На холмах Грузии, где не видать ни зги,
вот там бы вы остались без работы.

Богаты вы, едва из колыбели,
вот именно, ошибками отцов...
И то смотрю, как все поднаторели,
кто в ЦэДээЛе, кто в политотделе —
сказать еще? В созвездье Гончих Псов.

Но как бы вас масоны ни споили,
я верю, что в обиду вас не даст
Калашников, Суворов, Джугашвили,
Курт Воннегут, вельвет и «адидас»!



Ф. Ч.

Столетие любимого вождя
Ты отмечал с размахом стихотворца,
Акrostихом итоги подведя
Лизания сапог любимых горца!
И вот теперь ты можешь не скрывать,
Не шифровать любви своей убогой.
В открытую игра, вас тоже много.
Жируйте дальше, если Бог простит.
Однако все должно быть обоюдным:
Прочтя, лизни мой скромный акrostих,
Если нетрудно. Думаю, нетрудно.

ПО СЛЕДАМ ЕСЕНИНА

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю, —
я скажу: — Не надо рая,
дайте родину мою.

Если скажет голос свыше:
— Кинь ты Русь, живи в раю, —
я скажу: — Не надо, Миша,
дайте родину мою.

РЕПЛИКА В ПОЛЕМИКЕ

Сестры, память и трезвость,
когда бы я знал вашу мать,
я бы вычислил вас не с того,
так с другого

конца.

Впрочем, что тут, действительно,
думать и копыя ломать?

Мы же знаем отца.



Девятый год войны в Афганистане.
И я подумал: «Хватит мне молчать!»
Сейчас меня ругать никто не станет,
что я решил об этом написать.

Сейчас меня, наверное, похвалят,
чтоб напечатать сразу здесь и там.
Ну, кроме тех, кто на лесоповале:
все за Афган, но по другим статьям.

Меня поймут и Язов, и Громыко,
пускай с трудом, но это их дела.
Поймут меня и Сахаров, и Быков,
поймет Василий Теркин, Гоп-со-смыком,
и уж легко поймет Наджибулла.

Ну, может, не поймет меня Проханов,
ну, Розенбаум, ну, Бабрак Кармаль,
ну... младший Боровик!

Но из душманов
любой Фарид отдаст мне свой медаль.

Пришел конец кошмарным голодовкам,
и снова можно водку выпивать.

Нам даже очень гордые литовки
в трамваях стали место уступать.

Эмблемы в урны, братья пацифисты!
И танки

возвращаются с войны.
Нам позарез нужны специалисты
внутри страны!



Начальник Отдела дезинформации полковник Боков просыпается рано — ему надо многое успеть.

Начальник отдела дезинформации презирует информацию, идущую с телеэкрана, но для начальника Отдела дезинформации отсутствие информации — смерть.

И в Гайд-парке, и в Луна-парке, и в парке Горького полковник Боков спокоен, как Бог.

В мире возрастающей информации любая информация убога.

Королева информации — дезинформация.

Он входит в бетонный бокс.

Сегодня солнце зайдет на востоке!

А как ты хотел?

Это начальник Отдела дезинформации полковник Боков принимает Отдел.

Он тянется к телефону — и страна становится на ребро, и народы скатываются к одному боку.

Вы думали, это «Арканы Таро»?

Это начальник Отдела дезинформации полковник Боков.

Моделируем ситуацию: он выходит из ресторана, и на книжной толкучке к нему подваливает пижон:

— Меняю «Буковского» на «Корвалана»... —

Полковник Боков не поражен.

При чем здесь Авиценна, Ньютон или Шекспир?

Я сегодня вычислил на грани шока —

это твоя дезинформация деформирует микромир, начальник Отдела дезинформации полковник Боков!

Но полковник Боков не просто враль.

Без гвоздя сработана Вселенная, и вот морока: не делится в квадрате на сторону диагональ.

Почему не делится? Потому, что полковник Боков.

Еще при Атлантах он кольца свои свивал:

провалы материков, падшие ангелы и полчища

лжепророков...

Помните, Иуда подошел и поцеловал?

А если это был полковник Боков?

Но по ночам я читаю хокку,

а не «Сионские протоколы»...

Начальник Отдела дезинформации полковник Боков,
это твои проколы.

Информационный взрыв, выбросы и круги...

Идет информация сплошным потоком.

Но только дезинформация просветляет мозги!

Это отлично понимает начальник Отдела Боков.

Панки, митьки, металлисты
и прочие контрреволюционеры,
вы погрязли в своих пороках.

Дай им высшую меру,

Боков!

Начальник отдела информации проставляет точки
в сочинениях Набокова и думает: «Как жестоко...»

Мальчишка! Закрытая информация — это цветочки
в лесном буреломе, которым заведует Боков.

Истина скрыта не так глубоко,

но только здесь нам копать, копать и копать...

Начальник Отдела дезинформации полковник Боков
уходит спать.

Начальник Отдела дезинформации полковник Боков,
а теперь ответьте,

я правильно назвал вашу фамилию, нет или да?

Начальник Отдела дезинформации полковник Боков
отвечает:

— Да.

27 МАРТА 1991 ГОДА

На 28-е в народе
назначен крутой поворот.
Бродяга к Байкалу подходит,
рыбацкую лодку берет.

Бродяга Байкал переехал,
подходит к Кремлевской стене...
Но тут его танк переехал,
и песенке нашей конец.

Я в собственном глазу не замечал соринку,
но тут на Колобах, купив свое вино,
впервые увидал ментовскую дубинку,
«ЭРИ-72» — большую, как бревно.

Я убеждал себя: здесь виноватых нету,
ведь это только страх, как выкрик «От винта!»,
растягивает вдоль случайные предметы,
растаскивает вширь поганого мента.

Когда в Махачкале я захожу в «Лезгинку»,
навстречу мне встает (всей кожей об нее!)
фаллический предмет, ментовская дубинка,
«ЭРИ-72» — проклятие мое.

Уж лучше мне ходить с расстегнутой ширинкой,
чем запросто, вот так, идти средь бела дня
с «ЭРИ-72», ментовскою дубинкой,
большой, как у коня...

В последний раз меня забрали на Тишинке.
Как весело она взглянула на меня!
«ЭРИ-72» с свинцовой начинкой,
зачуханный дизайн, недалняя родня.

Не-е-ет, весь я не умру. Той августовской ночью
и мог бы умереть, но только, вот напасть! —
три четверти мои, разорванные в клочья,
живут, хоть умерла оставшаяся часть.

И долго буду тем любезен я народу,
что этот полутанк с системой полужал
в полуживой строфе навеки задержал
верлибру в панику и панике в угоду.



Нине Искренко

Этот «Боинг» летит неуверенно
на такой небольшой высоте,
и таким коридором проверенным,
и с такой пассажиркой в хвосте...
Пассажирка сидит неуверенно
с сигареткой смертельной во рту,
изо всех гороскопов расстреляна,
да еще на такой высоте!
Этот «Боинг» последней выточки
с пассажиркой смертельной во рту,
по радару ее, как по ниточке,
растерял всю свою высоту.
Пассажирка последней выточки:
этот «Боинг» в надежных руках, —
приземляется, плиточка к плиточке,
на бетонки зияющий пах.

Рейс Нью-Йорк — Сан-Франциско



В начале восьмого с похмелья болит голова не так, как в начале седьмого; хоть в этом спасенье. Сегодняшний день — это день, пораженный в правах: глухое похмелье и плюс ко всему воскресенье.

И плюс перестройка, и плюс еще счета свести со всем, что встает на дыбы от глотка самогона. Вот так бы писать и писать, чтоб с ума не сойти, в суровой классической форме сухого закона...

Вот видите, сбился, опять не туда повело: при чем здесь «сухой» самогон, когда спирта сухого глоток... Извиняюсь, опять не про то. Тяжело в ученье с похмелья в бою... Будь ты проклято! Снова.

Вернее, сначала. В начале восьмого башка... Люблю тебя, жизнь, будь ты проклята снова и снова. Уже половина... восьмого стакана... рука уже не дрожит, и отыскано верное слово.



Бессонница. Гомер ушел на задний план.
Я Станцами Дзиан набит до середины.
Система всех миров похожа на наган,
работающий здесь с надежностью машины.

Блаженный барабан разбит на семь кругов,
и каждому семь раз положено развиться,
и каждую из рас, подталкивая в ров,
до света довести, как до самоубийства.

Как говорил поэт, «сквозь револьверный лай»
(заметим на полях: и сам себе пролаял)
мы входим в город-сад или в загробный рай,
ну а по-нашему так — в Малую Пралайю.

На 49 Станц всего один ответ,
и занимает он двухтомный комментарий.
Я понял, человек спускается как свет,
и каждый из миров, как выстрел, моментален.

На 49 Станц всего один прокол:
куда плывете вы, когда бы не Елена?
Куда ни загляни — везде ее подол,
во прахе и крови скользят ее колена.

Все стянуто ее свирепую уздою,
куда ни загляни — везде ее подол.
И каждый разговор кончается — Еленой,
как говорил поэт, переменивший пол.

Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,
никто не избежит блаженной продразверстки.
Я помню наизусть все 49 Станц,
чтобы не путать их с портвейном «777».

Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.
Но в прорву эту все уносится со свистом:
и 220 вольт, и 49 Станц,
и даже 27 бакинских коммунистов...



Человек работает во сне,
словно домна, цех или колун.
Это ничего, что на спине
он лежит и вроде бы уснул.

Мозг его работает во сне,
как страна работает весной.
(Как страна в какой-нибудь стране,
как магнитофон переносной.)

Сквозь себя проходит, как сквозь лес,
сам с собой выходит на таран.
Как металлургический процесс
и полифонический экран.

Сон его на секторы разбит.
Потому, наверно, и красив.
Сколько в нем непройденных орбит,
столько в нем обратных перспектив.

Мозг его долбаёт сам себя.
Постепенно строится, как мост.
В сущности, как мост через себя.
Потому — извилистый, как мозг.

Мозг его работает, как скот.
И глядит вокруг, как водопой.
Никакой он не калейдоскоп,
не аккумулятор никакой.

Если проецирует во тьму
собственные мысли про буфет —
сразу погружается во тьму
или же спускается в буфет.

Одуревший от мифологем,
человек уснет, как истукан.

А мозг его, как будто автоген,
все виденья режет пополам.

А если накануне перебрал,
водку пил с портвейном пополам —
сразу натывается на хлам,
создает искусственный астрал.

Там, где человека человек
посылает взглядом в магазин.
Кажется, там тыща человек,
но, в сущности, он там всегда один...

У природы есть немного тем,
и она варьирует их тем,
что она варьирует их тем,
кто хотел бы заняться не тем.

Пусть один работает на пне,
а другой — за письменным столом.
Но человек работает — во сне,
интересном, как металлолом.

Потому, что он не ЭВМ.
Даже если служит в МВД.
Вне систем, конструкций или схем
все равно очнется на звезде,

там, где я, свободный дзэн-буддист,
не читавший Фрейда и Лилли,
сплю, как величайший гуманист,
на платформе станции Фили.



Идиотизм, доведенный до автоматизма.
Или последняя туча рассеянной бури.
Автоматизм, доведенный до идиотизма,
мальчик-зима, поутру накурившийся дури.

Сколько еще в подсознание активных завалов,
тайной торпедой до первой бутылки подшитых.
Как тебя тащит: от дзэна, битлов — до металла
и от трегубовских дел и до правозащитных.

Я-то надеялся все это вытравить разом
в годы застоя, как грязный стакан протирают.
Я-то боялся, что с третьим открывшимся глазом
подзалетел, перебрал, прокололся, как фраер.

Все примитивно вокруг под сиянием лунным.
Всюду родимую Русь узнаю, и противно,
думая думу, лететь мне по рельсам чугунным.
Все примитивно. А надо еще примитивней.

Просто вбивается гвоздь в озверевшую плаху.
В пьяном пространстве прямая всего конструктивней.
Чистит солдат асидолом законную бляху
долго и нудно. А надо — еще примитивней.

Русобородый товарищ, насквозь доминантный,
бьет кучерявого в пах — почему рецессивный?
Все гениальное просто. Но вот до меня-то
не дотянулся. Подумай, ударь примитивней.

И в «Восьмистишия» гения, в мертвую зону,
можно проход прорубить при прочтенье активном.
Каждый коан, предназначенный для вырубона,
прост до предела. Но ленточный глист — примитивней...

Дробь от деления — вечнозеленый остаток,
мозг продувает навывлет, как сверхпроводимость.

Крен незаметен на палубах авиаматов,
только куда откровенней простая судимость.

Разница между «московским» очком¹ и обычным
в том, что московское, как это мне ни противно,
чем-то отмечено точным, сугубым и личным.
И примитивным, вот именно, да, примитивным.

Как Пуришкевич сказал, это видно по роже
целой вселенной, в станине токарной зажатой.
Я это знал до потопа и знать буду позже
третьей войны мировой, и четвертой, и пятой.

Ищешь глубокого смысла в глубокой дилемме.
Жаждешь банальных решений, а не позитивных.
С крыши кирпич по-другому решает проблемы —
чисто, открыто, бессмысленно и примитивно.

Кто-то хотел бы, как дерево, встать у дороги.
Мне бы хотелось, как свиньи стоят у корыта,
к числам простым прижиматься, простым и убогим,
и примитивным, как кость в переломе открытом.

¹ Два туза при игре в «очко».

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Мы поедem с тобою на А и на Б
мимо цирка и речки, завернутой в медь,
где на Трубной, вернее сказать, на Трубе,
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.

Мимо темной «России», дизайна, такси,
мимо мрачных «Известий», где воздух речист,
мимо вялотекущей бегущей строки,
как предсказанный некогда ленточный глист.

Разворочена осень торпедами фар,
пограничный музей до рассвета не спит.
Лепестковыми минами взорван асфальт,
и земля до утра под ногами горит.

Мимо Герцена — кругом идет голова.
Мимо Гоголя — встанешь и — некуда сесть.
Мимо чаек лихих на Грановского, 2,
Огарева, не видно, по-моему, — 6.

Мимо всех декабристов, их не сосчитать,
мимо народовольцев — и вовсе не счесть.
Часто пишется «мост», а читается «мечь»,
и летит филология к черту с моста.

Мимо Пушкина, мимо... куда нас несет?
мимо «тайных доктрин», мимо крымских татар,
Белорусский, Казанский, «Славянский базар»...
Вон уже еле слышно сказал комиссар:
«Мы еще поглядим, кто скорее умрет...»

На вершинах поэзии, словно сугроб,
намечает метафора пристальный склон.
Интервентская пуля, летящая в лоб,
из затылка выходит, как спутник-шпион!

Мимо Белых Столбов, мимо Красных ворот.
Мимо дымных столбов, мимо траурных труб.

«Мы еще поглядим, кто скорее умрет». —
«А чего там глядеть, если ты уже труп?»

Часто пишется «труп», а читается «труд»,
где один человек разгребает завал,
и вчерашнее солнце в носилках несут
из подвала в подвал...

И вчерашнее солнце в носилках несут.
И сегодняшний бред обнажает клыки.
Только ты в этом темном раскладе — не туз.
Рифмы сбились с пути или вспять потекли.

Мимо Трубной и речки, завернутой в медь.
Кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.
Вдоль железной резьбы по железной резьбе
мы поедem на А и на Б.

ХОККУ. ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

Чего нам врут: «Народный суд!» —
Народу я не видел.

В. Высоцкий

Чего нам врут,
что это пруд?
Запруды я не видел.



Е. Гайдару

Люблю инфляцию.
Но странную любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
ни полный гордого презрения покой,
ни темной старины заветные преданья
не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Просёлочным путем люблю скакать в телеге
и, взором медленным пронзая ночи тень,
глядеть по сторонам, вздыхая о ночлеге,
дрожащие огни печальных деревень.
С горы идет крестьянский комсомол
и под гармонику, наяривая рьяно,
орет агитки Бедного Демьяна,
веселым криком оглашая дол...

Вот так страна!
Какого ж я рожна
орал в своих стихах, что я с народом дружен...
Моя поэзия здесь больше не нужна.

Да я и сам здесь никому не нужен.

СОДЕРЖАНИЕ

«Горизонтальная страна...»	5
«Когда наугад расщепляется код...»	6
К вопросу о длине взгляда	7
«Уже его рука по локоть в теореме...»	8
«Устав висеть на турнике...»	9
«Когда, совпав с отверстиями гроз...»	10
Сопряжение окружностей	11
Отрывок из поэмы	12
Фрагмент	13
«Неопознанный летающий объект...»	14
Песенка альпиниста	15
Печальный прогноз другу	16
«Человек похож на термопару...»	17
«Природа антисоциальна...»	18
«Процесс сокращения дробей...»	19
«Колю дрова...»	20
«Мне нравятся два слова...»	21
Ярмарка	22
«Благословенно воскресение...»	23
«Урок естествознания лежал...»	24
«Был педагог медлительный и старый...»	25
«В простой оберточной бумаге...»	26
«Косыми щитами дождей...»	27
«На Бога, погруженного в материю...»	28
Хокку («Я окна открыл...»)	29
Хокку («Жаркий полдень...»)	30
«Зачем ты рискуешь магазином и душистой папироской...»	31
«И рация во сне, и греки в Фермопилах...»	32
Дума (<i>ненидерландские пословицы</i>)	33
«Процесс приближенья к столу...»	36
«Висят на лоджии, как ей...»	37
«Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил...»	38
«Между солнцем горящим и спичкой здесь нет...»	41
«Двоятся и пляшут и скачут со стен...»	43
«“Печатными буквами пишут доносы”...»	44
«На перронах, продутых насквозь...»	45
«Погружай нас в огонь или воду...»	46
Из камчатской тетради	47
Сюжетные стихи	48
«Паром — большая этажерка...»	49
«Когда мне будет восемьдесят лет...»	50
«Ночь эта — теплая, как радиатор...»	53
«Бесконечен этот поезд...»	54
«Невозмутимы размеры души...»	55
«И Шуберт на воде, и Пушкин в черном теле...»	56
Люстра. Самолет	57

«Я заметил, что, сколько ни пью...»	58
«В перспективу уходит указка...»	59
«Старая, спирт похож на пионерку...»	60
Штурм зимнего	61
«Сильный холод больничной палаты...»	62
Покрышкин	63
«С кинокамерой, как с автоматом...»	64
«Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...»	65
Памяти неизвестного солдата	66
«Подполковник сидит в самолете...»	67
Невенек сонетов	68
Лицом к природе	76
«Над оседающим раствором...»	79
«Процесс написанья стихов...»	80
Из поэмы («Мне триста лет...»)	81
Фотофакт	82
«Древесный вечер. Сумрак. Тишина...»	83
«Там за окошком развивался лес...»	84
«Извивается, как керосин...»	85
«Туда, где роща корабельная...»	86
Из поэмы («Я мастер по ремонту крокодилов...»)	88
Добавление к сопроводу	90
Питер Брейгель	91
«В глуши коленчатого вала...»	93
«Да здоровствует старая дева...»	94
«Игорь Александрович Антонов...»	96
«Кочегар Афанасий Тюленин...»	98
«Я добрый, красивый, хороший...»	100
Переделкино	102
Филологические стихи	104
Репортаж из Гуниба	106
«На холмах Грузии лежит такая тьма...»	108
Самиздат-80	110
Стихи о «сухом законе», посвященные свердловскому рок-клубу	112
«Будь, поэт, предельно честен...»	114
Дружеское послание Андрею Козлову в город Свердловск по поводу гласности	116
«О чем базарите, квасные патриоты...»	118
«Столетие любимого вождя...»	119
По следам Есенина	120
Реплика в полемике	121
«Девятый год войны в Афганистане...»	122
«Начальник Отдела дезинформации полковник Боков...»	123
27 марта 1991 года	125
Ода «эРИ-72»	126
«Этот «Боинг» летит неуверенно...»	127
«В начале восьмого с похмелья болит голова...»	128
«Бессонница. Гомер ушел на задний план...»	129
«Человек работает во сне...»	131
«Идиотизм, доведенный до автоматизма...»	133
Ночная прогулка	135
Хокку. Патриаршие пруды	137
«Люблю инфляцию...»	138

**В поэтической серии «Автограф», издаваемой
«Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:**

- 1. **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- 2. **В. Салимон.** Невеселое солнце
- 3. **И. Лиснянская.** После всего
- 4. **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- 5. **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- 6. **Н. Кононов.** Лепет
- 7. **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- 8. **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- 9. **С. Гандлевский.** Праздник
- 10. **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- 11. **В. Дроздов.** Стихотворения
- 12. **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- 13. **А. Цветков.** Стихотворения
- 14. **Д. Новиков.** Караоке
- 15. **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- 16. **Т. Кибиров.** Парафразис
- 17. **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- 18. **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- 19. **В. Салимон.** Красная Москва
- 20. **В. Зельченко.** Войско
- 21. **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- 22. **А. Битов.** В четверг после дождя
- 23. **Л. Лосев.** Послесловие
- 24. **И. Лиснянская.** Ветер покоя
- 25. **В. Гандельсман.** Долгота дня
- 26. **Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- 27. **Т. Кибиров.** Интимная лирика
- 28. **В. Павлова.** Второй язык
- 29. **В. Кривулин.** Купание в иордани
- 30. **М. Ерёмин.** Стихотворения
- 31. **С. Кекова.** Короткие письма
- 32. **Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- 33. **Д. Новиков.** Самопал
- 34. **Т. Кибиров.** Нотации
- 35. **В. Соснора.** Куда пошел? И где окно?

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24
факс: (812) 273-52-56

**В серии книг «Зеркало», издаваемых
«Пушкинским фондом», вышли следующие тома:**

- **В. Яновский.** Поля Елисейские
- **Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- **С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- **В. Соснора.** Дом дней
- **Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- **А. Битов.** Дерево
- **С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- **В. Соснора.** Книга пустот
- **В. Соснора.** Камни NEGEREP
- **И. Бродский.** Горбунов и Горчаков
- **Л. Петрушевская.** «Карамзин» (деревенский дневник)

**В серии «Имя собственное»
выпущены книги:**

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24
факс: (812) 273-52-56

**«Пушкинский фонд» предлагает читателям
также следующие книги:**

- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Еременко.** Горизонтальная страна

Все книги тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24
факс: (812) 273-52-56

Е 70

Еременко А.

Горизонтальная страна: Стихотворения. — СПб.: «Пушкинский фонд», 1999. — 144 с.

ISBN 5—85767—012—8

ББК 84. Р7

Еременко Александр Викторович

Горизонтальная страна

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1999

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071 541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 15.10.99 г. Формат 60х90^{1/16}. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,0. Заказ № 768.

multiprint
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

«Полиграфический центр «MULTIPRINT»

190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6. Тел./факс 812 315 33 10

